

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

П 37

Р 32214

РАССКАЗЫ
О
РОДИНЕ

ОГИЗ 1943
ГОСАИТИЗДАТ



Андрей ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ
О РОДИНЕ

О Г И З

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1943

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Одухотворенные люди	3
Рассказ о мертвом старике	39
Броня	49
Железная старуха	61
Дед-солдат	68
Крестьянин Ягафар	78

Редактор Н. Глаголев

Подписано к печ. 3/IX 1943 г. А2631. Тир. 25 000.
2 $\frac{1}{8}$ п. л. Уч.-авт. л. 4,78. Зак. 102. Цена 2 р.

2-я типография изд-ва «Московский большевик».
Москва, Петровка, 17.

ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

*Рассказ о небольшом сражении
под Севастополем*

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была ранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеет, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг припал к земле, он, когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинаясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него», — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легко, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомянул, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издала смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог естречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорьи, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев, и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.

Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там так кто в живых, — комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил итти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были немцы. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побегал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью; а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют!»

— Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Остаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков; они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревающего воздуха в лицо и принял обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег в пол-оборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь принимал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты,

он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни: она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал попрежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочаась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чашу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и велись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо открыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь — ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре: только всего!

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь навывлет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело и осторожно перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь иль так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истомы меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бойходишь, — воюешь тогда в полсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжело, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай — крикнул ему Цибулько, покрывая голо-
сом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал
оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же
вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от
комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для
жизни и боя.

Стало уже вечереть; стрельба немцев стала редкой,
они падали сейчас ради одного предостережения, отложив
свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поли-
карпов? — спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля, сказал Одинцов... Такие
люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит
вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — Вперед, говорит,
за родину, за вас!... За нас с тобой! Родиной для него
были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел:
над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по
телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По
врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших
кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на
блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую
в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зар-
ницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для
отдыха.

Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании
его непрерывно шел тихий поток мысли и воображения.
Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувство-
вал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотря-
сения земли, и улыбался невесте в далекой уральской
деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть
она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго,
до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним
или с другим хорошим человеком, если сам Красносель-

ский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова—и вдовы есть ничего...

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек; там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала; ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготавливая красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до гибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры—четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовьи намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть... Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбочки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человека, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них откroшились.

— Они плохие, такие не бывают, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь тепсод в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!..»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать.

— Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него родина. И он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать!.

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Данил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с же-

ланием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, чтолагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей; спят Цибулько и Паршин; спит Красносельский, раненный в грудь на-

сквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле; не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул; он не очень хотел спать, но раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловища. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать, и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись

в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру — и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей, особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался

в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощь и компрессия!» Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной, — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка му-

жеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он должен был свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив; одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской природы. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека

и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил её и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названной жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал её, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной!» — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному, и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени

Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он запожнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут родиться люди...

Фильченко представлял себе родину, как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой; поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его...

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по

городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Старший батальонный комиссар Лукьянов подехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар.

Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутивными словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — вся наша большая вечная родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию

командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сме-
ненные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Шей нехватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жеву из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть таранить тирана! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были попрежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал — может тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо впрах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окруженья...

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на пологом поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса; их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать:

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу! — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек

пятьдесят. Некоторые били с хода из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный, прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы; они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Каждой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько протыкая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение: — Ну что ж. Это их боевая разведка была. Бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

«Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки».

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпаживались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились по-смертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылал у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть, — подумал он, — сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделе-

ние на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько. — Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струей, всей осязательностью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, осязательные очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссеиной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревящие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход; они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю, и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с хода запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссеиной дорогой низко пронесли немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе

моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить: день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пишу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук!

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык готовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготавливать, о вас уж половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда ж это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж, как в деревне на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе такое на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не мешает, ни-

сколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну, так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль: я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет право на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходявшие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стала быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины. — Ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и ка-

кая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно несерьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизельмоторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я — Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем: — Товарищи! Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей..

— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета — и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко. — Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их

оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее: лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою в полбатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже настрожил пулемет и следил прицелом за движением танка; теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссе на насыпь, наехав почти в упор на

подразделение Фильченко. Мгновенно опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась навесу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем, прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрашая, с хода из пушек

и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горячая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накапливал добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед — низкий, упорный и мощный. «Стой, стервец!» — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку. Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бывшего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегających танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался; он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета, и он умрет как глупая кроткая тварь — на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машин по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже, и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов, — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали в'едающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел итти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свержалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора пора-зить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли

в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастьем жизни или всецелому отчаянию, разлуке и гибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы грапата, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Данил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселясь, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца, напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным, противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе, в стороне от места боя танков со своими товарищами, и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила

к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет, и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

РАССКАЗ О МЕРТВОМ СТАРИКЕ

Вся деревня Отцовы Отвершки ушла со своего места назад, в далекие тихие земли России, потому что на деревню шел враг — немец.

В Отцовых Отвершках остался на жительство лишь один последний человек, маленький и сердитый дедушка Тишка. Он никуда не хотел уходить с родного двора, потому что тут на деревне прошла вся его жизнь, тут на погосте лежали в земле его родители и тут же он сам хоронил когда-то своих умерших детей, и младенцев и взрослых. И дедушка Тишка, предчувствуя скорое окончание жизни, не хотел отдаляться от родных людей; с кем он жил вместе на свете, с теми он желал и в могиле рядом лежать.

Старика увещевали односельчане, чтобы он тоже трогался с ними — обождать в тихой земле, пока врага назад обратно погонят, а потом опять ко двору со всеми вместе возвратиться.

Но Тишка не захотел их слушать.

— Это какие немцы? Конопатые, что ль? — спрашивал он через плетень у соседей, собиравшихся в дорогу. — Ну, знаю! Я их видал: алчный, единоличный народ; все к себе в котомку норовит сунуть что-нибудь — хоть деревянную пуговицу, хоть горлышко от бутылки, а все — дай сюда!.. Он, немец, к избе своей подходит, так за полверсты, гляди, уж обувку с ног долой сымает и босой бежит — а чтоб зря материал не снашивать, дескать!

Это народ догадливый, — он из паутины каваты вьет, из куриной головы мозгом пользуется; я-то их знаю: у них сердце кишками кругом обмотано... Нет, это не тот народ, без которого скучно нам было бы жить. Нет, это не те люди!

— Уйдем, дедушка Тишка, до времени, — говорил ему сосед. — Неприятель лютует, оскоблит он тебя до костей...

■ Тишка не побоялся.

— Я тут буду, — сказал он. — Я, может, один око-рочу всего немца!

Все жители Отцовых Отвершков ушли и увезли из деревни добро до куриного пера, а колодцы завалили под одно лицо с землей.

Тишка остался один. Он поставил бочку под угол избы, чтобы собирать дождевую воду с деревянной крыши, сел на крыльце и сосчитал воробьев, пасущихся во дворе; их было семь голов, а прежде было больше, стало быть, и воробьи ушли с мужиками в большую Россию, — воробью без мужика жить невозможно

Окрест деревни и в дальних полях было сейчас тихо, точно война уже давно миновала и снова стало мирно на свете. По теплomu воздуху летала паутина, в траве трещали кузнечики и шуршала в своем существовании прочая кроткая тварь, а на небе остановилось белое, сияющее солнцем облако, и оно медленно таяло в тепле, исчезая без следа в небесной синеве. Лишь где-то в умолкшем поле ехала последняя крестьянская телега, терпясь в сумраке вечера, но и она утихла, оставив за собою онемевшую землю, где сидел сиротою у своей избы один дедушка Тишка. Он сидел молча, однако не чувствовал ни одиночества, ни страха.

Вокруг него были сейчас порожние избы и безлюдные хлебные поля, но думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни остались здесь, вблизи дедушки Тишки. Он глядел возле себя, и он видел по привычке знакомые лица людей и беседовал с ними.

— Марья, что мужик-то пишет тебе чего из-под Челябинска иль уж забыл тебя?

— Пишет, дедушка Тишка, — говорила Марья. — Намедни купон по почте получила, сто рублей денег прислал. Живет, — пишет, — сытно, да у нас-то, думается, на деревне, все ж таки сытнее будет. Пусть бы уж ко двору скорей ворочался: чего плотничать ходит на старости лет! Привык без семейства вольничать, вот и носит его нечистая сила!

— Объявится! — произносил Тишка в ответ женщине. — Не убудет, целым, кормленным придет..

— Дедушка Тишка! — кликал его из-за соседского плетня невидимый подросток Петрушка. — А что муравей — это тоже как человек?

— Тоже, — отвечал Тишка. — Каждый по-своему человек.

— А тогда я, значит, тоже как муравей! — догадывался Петрушка.

— Ты — муравей, — соглашался с ним старый Тишка.

Но, ответив мальчику Петрушке, дедушка Тишка услышал, что в пустом овине повторился его голос и в безмолвном завечеревшем воздухе кто-то еще раз пробормотал его слова; это было нелюдимое эхо. Все стало пусто, все жители уехали отсюда, и смертной жалостью к ним заболело сердце Тишки.

Он поднялся с крыльца и пошел на улицу, желая встретить там что-нибудь живое и знакомое — забытую курицу, кошку или воробья.

На улице никого не было; оставшиеся в деревне птицы и животные не привыкли жить без человека в такой тишине, и они, должно быть, ослабели и спрятались от страха или ушли вслед людям.

Но где не могло жить животное, старый человек жил. Он мог жить здесь одною тоскою об ушедших людях и ожиданием их возвращения, настолько его сердце было предано жизни.

Ночью тишина продолжалась, а в той стороне, куда шла русская земля, занялось зарево пожара.

«Это неприятель кругом меня охватывает, — подумал Тишка. — Потерплю покуда, а потом приму свои меры».

Тишка еще не знал в точности, какие он примет меры против силы врага, но он верил, что при нужде сразу сообразит, что нужно ему делать, потому что врагу пора дать окорот, врагу нельзя отдавать землю с хлебом и добром, иначе нечем будет жить народу и некуда будет людям возвратиться домой. Чтобы встретить неприятеля, Тишка вышел на околицу, на ту сторону деревни, откуда прежде всего мог появиться немец, и лег там на ночь у дороги.

Ночью, высоко поверх Тишки, шли звезды по небу. Дедушка видел их и думал:

«На покое живут. Что у них там? Такое же положение жизни, как у нас, или все-таки гораздо лучше? Пусть горят подальше от нас, может быть, хоть целыми останутся. Будь они поближе, в них бы немцы из пушек стреляли и потушили бы их, либо туда забрались бы и затеяли там беду. Нет, пусть уж они светят далеко и отдельно, чтоб их никто не достал!»

Успокоившись, что звезды навеки останутся нетронутыми, старый Тишка приподнял голову, глянул на пустую деревню, на тихое вечное поле, загоревал и уснул. Во сне он увидел, что он умер и лежит на столе в чужой большой избе, а незнакомые люди плачут по нем. От страха и печали Тишка проснулся.

«Это умершие люди меня к себе зовут, — разгадал старый Тишка свое сновидение. — Теперь многие молодыми помирают, вот они и ревнуют меня, старика, что я живой. А что мне помирать? Мне помирать пока что расчета нету!»

Было еще далеко до рассвета, но Тишка уже поднялся навстречу неприятелю. Попрежнему тишина хранила землю, однако уже наступила пора окоротить врага, покуда он не появился здесь возле изб с огнем и смертью.

Тишка взял посошок с земли, оставленный когда-то у дороги неизвестным прохожим человеком, и пошел вперед, чтобы остановить врага и сразить его.

Дед шел между созревшими хлебами и борстал в ожесточении:

— Вот оно добро-то, поспело и стоит! Раньше-то чем был хлеб? И прежде он был дело святое. А теперь он самим сердцем нашим стал: как его пожжешь, как погубишь? Врагу-мучителю то же самое оставлять его нельзя: в хлебе вся сила, где ж она еще? Эх, мать моя, не спросясь, ты меня родила!..

Издаലെка, из ночи, чуть тронутый рассветом, навстречу дедушке Тишке шел молчаливый темный человек.

Тишка оглянулся назад, на деревню; в сумраке раннего утра там стояли знакомые избы, и росистая влага пеленой неподвижного дыма занялась над ними, будто все печи в деревне с утра затопили на праздник.

Народ и сейчас был там своею душой и памятью, — эи был в этих избах и в хлебных полях вокруг них. В скупой и верной любви жизнь людей навек и неразлучно срослась здесь с хлебом, с землей и с добром, нажитым в постоянном труде, и старый Тишка ничего не мог здесь пожечь или порушить, потому что это было бы то же самое, что убить народ.

Тишка одумался и пошел дальше вперед. Навстречу ему из предрассветного сумрака теперь шел не один темный человек, а много людей. Они спешили, и вскоре сразу все вместе очутились возле Тишки. Двое из них устали против Тишки ружья-автоматы, но дед был сердит на неприятелей еще прежде, чем они его увидели; он стукнул палкой о землю и крикнул на ближнего врага:

— Окоротись, жулик! Иль не видишь, кто тут такой находится?..

Маленького роста, с большой окладистой бородой, яростный и оскорбленный, стоял против врагов дедушка Тишка, чувствуя полную свою правомочность.

— Прочь, назад отсюда! — воскликнул Тишка. — Ишь, охальники, чего затеяли! Что за жизнь така, скажи пожалуйста: они народ наш губить пришли! Иль вы не понимаете ничего, — так я вас враз всему разуму научу!.. Опусти ружье, тебе говорю, пропащий ты чело-

век! И Тишка с молодым, затвердевшим от ненависти сердцем замахнулся своей дорожной палкой на ближнего немца и на всех их, сколько их было — он их не считал. Отходи назад, беспортошные! Окорачивайся тут, пока цел.

И дедушка бросился в атаку на чужое войско: он знал, что злодей всегда робок и он действует лишь до тех пор, куда его не пристрожит народ. Тишка понимал, что негодный человек слаб на душу и настоящей силы в сердце у него нет. И потому Тишка пошел на врага без опаски, как в кустарник. Сначала он бросился было на немцев как можно скорее, норовя изувечить каждого палкой по лицу, а потом отбросил палку и пошел на них спокойно, — он решил их взять врукопашную.

— Вы без железок, без танков, без шума и грома, без хулиганства вашего воевать не можете! — воскликнул маленький дедушка Тишка. — А я и без палки, я безо всего могу, — я знаю вас, комариная куча! Ишь ты, они пугать нас тут пришли. Ишь ты, они народ побить захотели!.. А ну-ка, сторонись и кланяйся в землю!

Тишка зарычал на врага и нанес ближнему немцу удар в горло, так что у неприятеля там заклокотало, а у дедушки осушилась рука.

Один немец удивленно и внимательно глядел на чужого русского старика и слушал его; может быть, думал он, это важный здешний человек, потому что он говорит сердито, как начальник, и хоть по росту маленький, а по званию, может быть, большой. Но другой немец, которого ударил Тишка, выстрелил в старика, и дедушка упал. Как всякий человек, Тишка не допускал, что он может однажды умереть; он предполагал, что как-нибудь вызволится от смерти, когда придет его срок. Тем более он не верил, что к нему придет смерть от чужой нечистой руки.

— Не может быть, поганец! — сказал или подумал сказать Тишка, и стал забываться, прикинув к земле.

На него наступали тяжелые немцы, но он их уже не чувствовал. Он чувствовал маленькое горячее постороннее тело в своей груди; оно жгло его, медленно остывая,

и чтобы остудить скорее смертную пулю, сам дедушка Тишка весь холодел.

«Совладаю!» — решил Тишка, вовсе слабая, и, уже тоскуя о немощи, сонно и равнодушно подумал о смерти:

«Зря помираю: мне еще не время, — будь бы время!»

Он проснулся вечером, затемно. Осторожно, недоверчиво огляделся вокруг: было все то же самое, что было, земля была цела, по ней лежала дорога, возле дороги стояла некошенная рожь и вдали виднелись темные нежилые избы. Тогда он подумал о себе; он почувствовал в груди резкое чужое железо, которое мешало ему дышать, точно железо там поворачивалось от вдоха. При каждом движении он теперь вспоминал об этом железе, а раньше не помнил, что дышит. Но Тишка, удостоверившись в жизни, не боялся немецкого железа.

Врастет, обживется, салом подернется, и я сам про него забуду, что есть оно, что нет.

Он встал, пошел обратно на свою деревню.

У последнего плетня ходил понемногу туда и сюда немец-часовой. Немец подпустил дедушку Тишку близко к себе; он думал, должно быть (по малому росту), что это идет ребенок.

Тишка подошел к врагу и угадал в нем по лицу того неприятеля, которого он ударил в горло. Этот враг, стало быть, и убил его насмерть.

Немец сначала уставился на Тишку, хотел что-то исполнить, но сразу занемог, оплошал и привалился к плетню. Дело было ночное, темное, сторона чужая, и немец испугался, увидев живым мертвеца, того, кого он сам убил. Тишка понял слабость неприятеля и тронул его еще вдобавок для проверки рукой.

— Убитых боитесь, а с живыми воевать пришли! — сказал Тишка врагу. — Эка, малоумные какие!

Старик пошел дальше по деревне. Повсюду в темных избах спали немцы и храпели во сне. «Тоже все одно и они храпят, — подумал Тишка. — Могли бы и они людьми-крестьянами стать, да не стерпели: разбой-то он прибыльной пахоты».

Врагов в деревне теперь было много, больше, чем ко-

гда дедушка ходил на них в атаку. Они собрались, видно, сюда со всей округи на харчи и на отдых. Только они спали сейчас натошак, потому что народ убрал за собой и утаил всю пищу, и увел живность, и даже колодцы были засыпаны на погребение.

Тишка знал, что утром, как только немцы опознают его, то опять убьют.

«Эка смерть, — вот тебе невидаль! — осерчал дедушка в своем размышлении. — Не всякая смерть тяжка, не всякая жизнь добра!»

Тишка почесал ранку под рубашкой на груди; она теперь уже подживала, и пуля в теле чувствовалась не столь уже больно.

— Тратятся немцы зря на меня! — посчитал старик чужой убыток и вышел на взгорье возле деревенской кузницы.

Там он стал на колени, обратился лицом к дворам и к избам и поклонился им в землю на прощанье. Все было кончено для него — жизнь окончена и окончена надежда, хотя он и был здоровый и живой.

— Ну, теперь ты без меня живи, добрый и умный! Я тебе больше не помощник! — вслух сказал дедушка Тишка, обращаясь к тому челоювку, которого он любил всю жизнь и которого никогда не видел.

Тишка пошел в знакомое место, где лежала большой горой обмолоченная солома. Она свозилась туда уже три года, и в свое время дедушка Тишка делал возражение правлению колхоза, что это, стало быть, непорядок и упущение: солому тоже нужно было обратить в пользу. Но теперь он увидел, что и непорядок и упущение стали теперь для него пользой; он подошел к той соломе и остановился для соображения. Тишка хотел точно знать, откуда тянет ветер и откуда надо поджигать, чтобы зажечь от той соломы всю родную деревню.

Тишка нашел укромное место и зажег кремнем и огнивом ветхую солому; отсюда, он полагал, займется вся деревня: изба была близко, плетень подходил к самой соломе и тут же, возле, находился колхозный овин. Все колодцы в деревне завалены, немцы спят, и огонь будет

свободно уничтожать добро народа, пока не дойдет до черной земли.

Старая сухая деревня занялась по кровлям, по плетням, по всякой жилой ветоши; пламя высоко взшло в тишину темного неба, и огонь начал отделяться от общего пламени и поплыл облаками в сторону неприятеля, освещая сверху всю бедную, страшную жизнь на земле.

Тишка отошел на время в поле и оттуда глядел, как огонь поедом ест избы деревни и как враги, не успевшие задохнуться во сне, выбегали наружу и отходили обратно — туда, откуда пришли.

От горя и утомления Тишка лег возле ржи и уснул, а деревня сгорела и дотлела сама по себе.

Пробудившись среди дня, Тишка увидел на месте деревни мертвую черную землю. И Тишка почувствовал, что вместе с деревней у него в душе тоже умерла и умолкла прежняя сила, с которой он привык жить. Теперь он ослабел, и что-то отжило навсегда и словно поникло в его сердце.

Тишка пошел на место деревни, нашел там, где была улица, немецкую саперную лопатку и начал рыть себе под жильем землянку; он стал работать в той же земле, на которой стояла вчера еще его изба. Земля еще не остыла и была теплой от огня.

Отрыв немного грунта, Тишка нашел сначала пятак денег, а потом оловянные серьги, которые носила когда-то в молодости его покойная жена, и дедушка заплакал, вспомнив о ней.

В это время к нему исподволь, потихоньку подошел человек. Тишка оглянулся и опознал немца, и хотя у неприятеля было закопченное, похудевшее, чуждое лицо, но это был опять тот же самый враг, который уже убивал однажды его, Тишку-старика.

— Чего ты все ходишь тут, нечистая сила? — зашумел дедушка на немца.

Немец посмотрел на Тишку белыми, испуганными глазами и отошел прочь.

«Ошалел конопатый, — подумал Тишка. — Озорства-то в них и алчности много, а силы настоящей нету, нет,

нету! Да откуда же взяться у них настоящей силе-то? Неоткуда: ни одна живая душа не прильнет к ихнему делу, их дело для сердца непитательное!..»

К вечеру, к закату солнца, Тишка отрыл себе землянку и начал для уюта и удобства жизни стлать в ней траву; и опять в душе Тишки ожила умолкшая было сила, и слабость его сердца прошла, потому что он уже построил себе жилище и потому что не вечно будет горе разорения, а народ возвратится и народится вновь.

— Сказал — окорочу здесь неприятеля-врага, и окоротил! — произнес сам для себя дедушка Тишка. — Где он, враг, теперь? Его нету, а я тут!..

И с тех пор дедушка Тишка стал жить в своей землянке, но только сильно скучал и горевал по народу. Однако он знал, что раз земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага, то в свое время все обратно возьмется от земли — и хлеб, и избы, и любое добро — и от нее же вновь оживет и повеселеет печальная, обиженная крестьянская душа. И народ пришел к дедушке Тишке вскорости, скорее, чем он ожидал его.

Еще недоспал Тишка третьей ночи в своей землянке, как на утренней заре к нему явились двое крестьян из дальней деревни и сказали, что они партизанские бойцы, а про Тишку они слышали от одного пленного немца, помешавшегося умом, что этот район неприятель называет «зоной мертвого старика», тут будто бы воюет против всех немцев один мертвый старик. — и вот народные бойцы пришли сюда, чтобы узнать всю правду и поговорить по душам с мертвым стариком, если он живой.

Тишка долго и молча слушал двух крестьян, тоже пожилых людей, а потом объявил им:

— Что ж, идите все, сколь вас есть, сюда ко мне и вступайте под мою команду! Раз я старик мертвый — меня уж убить нельзя и одолеть то же самое! Вам со мной быть полезно, а мне — все одно..

«Это не мертвый старик, а хитрый боевой мужик, — подумали партизаны, — только ростом он слаб, ну, ничего, он зато сердцем сердитый». И они сказали ему, что он годится им в командиры, им нужен такой серьезный,

сердитый, небоязливый человек, и пускай их сейчас пока трое будет, после весь народ придет к ним, потому что больше ему идти некуда, как только домой, на свое родное место, где земля его вскормила, где лежат в могилах его родители.

Дедушка Тишка вздохнул, что мало еще у него войска, и вышел из землянки наружу. Он посмотрел на большое поле, в сторону врага; там сейчас пылила дорога вдали, видно, снова шли оттуда немцы.

— А вы помирать не боитесь? — спросил Тишка у своих бойцов, которые теперь переобувались в землянке.

— Нет, дедушка! Каждый день бояться — соску, чнишься, — сказал один боец, а другой вздохнул.

— Зря не боитесь! Это вы зря сказали! — произнес Тишка и тут же приказал им повышенным голосом: — Смерти остерегайся и нипочем не помирай! Солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны, а то для кого ж тогда жизнь? Войско тем и живо, что в смерть не верит, смерть — она полагается только неприятелю, а нам — нету смерти! Объявляю боевую тревогу, вылазь ко мне, окоротим врага!

БРОНЯ

Рассказ

Саввин был пожилым моряком, он служил инженером-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу.

Это был моряк старый, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину — в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине

живота, но говорил он редко, любя больше слов безмолвие, наблюдение и размышление. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков, и я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему. «Еще один добряк и пьяница», — подумал я про него.

Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Саввин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и моря. «В море грустно, там тоска, — говорил он. — Море само по себе некрасивое, оно простое и серьезное; это водоем, где водится рыба для нашего пропитания, а по верху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево, а счастья на море нет, на сухой земле лучше — тут хлеб, тут цветы, тут люди живут».

— А почему же вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич? — спросил я у него.

Саввин промолчал. Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящий устьем к реке Белой. Пред нами, на той стороне балки, вжились в землю мирные деревянные жилища и от них зачинались длинные картофельные огороды, спускающиеся вниз. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей.

— Я с детства люблю нашу русскую землю, — сказал Саввин; он умолк и вдруг тихо заплакал. Потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: — Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно должны стремиться погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не захотел захватить. Еще с детства я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли, от страха, может быть от предчувствия, у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался... Потом я вырос, как все растет, меня

призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским инженером; я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной...

— Одних кораблей мало, — сказал я моряку. — Нужны еще танки, авиация, артиллерия...

— Мало, — согласился Саввин. — Но все произошло от кораблей: танк — это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь вижу, что нужно, — нам нужна броня, такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки, мы обрядим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности, почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению... Броня ведь это мускулы и кости войны!

Саввин воодушевился, что с ним бывало очень редко. вероятно, потому, что свое воодушевление он тратил в тайну своего размышления и работы, и внешне оно не проявлялось.

Я пошел проводить Саввина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика, ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Саввин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая.

— Сердце у меня слабеет, — произнес он затем, — но жизнь от этой слабости я чувствую как-то лучше.

— Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко, — сказал я спутнику в утешение.

— Одолеем! — странно и злобно воскликнул Саввин. — Надо еще уметь, чтоб одолеть, надо сделать победу из работы и боя!

И он добавил своим обычным, хриплым и кротким голосом:

— Небольшую долю нашей победы я сделал.

Я удивился и не поверил:

— Где же она, ваша победа?

Саввин ответил:

— Она спит в одной избушке в Курской области, там я схоронил в бумаге десять лет работы.

— Что же это такое?

— Да как вам сказать? Это новая физиология металла, — сказал Саввин. — Но чтобы вам понятно было — это способ производства броневое сверхпрочного металла, чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага.

— А в Курской области теперь немцы!

— Пускай, — произнес Саввин. — Немцы там, но земля, как была, так и будет русской... Подживет нога, пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно. Надо строить новый металл: твердый и вязкий, упругий и жесткий, чуткий и вечный, возрождающий сам себя против усилия его разрушить... Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал: это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя.

— Я пойду, — сказал я Саввину.

— Спасибо, — ответил Саввин. — В этой избе живет мой дядя, мы там погостим.

— А немцы не спалили избу. Где мы там гостить тогда будем?

Дядя спрятал мои бумаги в подполье, под основание печи, — сказал Саввин. — Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях...

Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов в поля, на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела: неужто отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля; он пошел со смертью в наши мирные цветущие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сгниет, как падаль. Земля наша хороша и для хлеба и для могилы. И было в бойцах сейчас толь-

ко твердое, ненавидящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем, остающуюся здесь в сиротстве без сильных рабочих рук; но и сердце есть оружие, и оно — первое условие победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда им движет ненависть.

Мы с моряком Саввиным оставили свое временное местожительство и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я — командировку. Мы доехали до Рязска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.

— А как же мы пройдем через фронт: на бога? — спросил я у Саввина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дегрями великих урожайных хлебов.

Саввина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю.

— Почему — на бога? — сказал он. — По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские, — так сквозь и пройдем, чего нам у себя дома тугаться? Где схитрим, где спрячемся, а где осилим, там и с врагом побьемся, а там и наша деревня близка будет.

К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Саввин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия, — у него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его, потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу на своих самых опытных разведчиков, а Саввина и его спутника, то есть меня, он просил обождать на месте до возвращения разведчиков. Саввин, конечно, отказался: для успеха дела разумнее было идти ему самому.

В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. Нас проводили двое красноармейцев, затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы.

Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую, дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывшему нас на покой.

Вечером мы обошли попутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы, притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин; он шел в сторону Москвы, может быть, желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом, может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел вслед исчезнувшему и заскучал по той стороне, куда побрел одинокий крестьянин.

Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Саввин, огородным луком и капустными листьями. Саввин ел огородных овощей как можно больше, и я ему тоже помогал в этой работе над едой; мы полагали, что будет лучше, если немцу достанется меньше овощей, так что наше обжорство имело благородную причину.

— Из любви к родине — рубай! — приказывал мне Саввин.

Огороды были не возделаны, по ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было хозяина в живых.

На очередной ночлег мы расположились в кустарнике, недалеко от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Саввин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь.

Издалека по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны. Видно, им далеко было еще итти, и они не спешили.

Впереди шел немецкий солдат с автоматом; серая пыль, прах нашей земли, покрыла одежду чужестранца. За ним брели молодые крестьянки, одна из них была девочка лет пятнадцати; всего я их насчитал четырнадцать человек. Позади них шагал, торопя пленниц, другой немецкий сол-

дат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, в сияющие солнцем места, нагибались, чтобы поправить обувь, перевьючивали друг на друге котомки с хлебом, а одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку, но на нее строго залопотал задний немец.

Они шли с котомками за спиной, с палками в руках, покрыв головы темными платками, — они шли в дальнее безвозвратное странствие. Молодые и юные, еще кроткие сердцем, они брели согнувшись, как в старчестве, потому что их уводили на вечную разлуку, и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие, умолкшие старухи.

Я разбудил Саввина.

— Погляди — сказал я ему.

Он посмотрел на шествие.

— Их в рабство гонят, — произнес он. — Их ведут в глубь Германии...

Мы притаились и наблюдали. Одна большая женщина одурилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтоб она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос, в нем не было слов, но было долгое, вечное горе, от которого обмирало сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее поющая душа. Мы забылись и заслушались этой песни пленницы, гонимой на смертную работу.

Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой ко двору. Теперь мы снова увидели,

что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб.

Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда немец прижал к себе ложу автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал, но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще, однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат пробежал за ней несколько шагов, остановился для удобства стрельбы и стал на одно колено. Но он уже не управился побить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако новые три пули Саввина поразили его раньше чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но большая пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги.

Саввин все еще держал свой револьвер, положив его дуло меж двух ветвей, росших рогаткой; он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленные женщины сразу исчезли с дороги; они устремились через поле, в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе.

Мы ушли кустарником своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне оврага.

Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилища.

— Что это там? — сказал я Саввину. — Должно быть, деревня горит...

— А что там? — грустно произнес Саввин. — Там обыкновенно что: немцы народ наш казнят. Пойдем туда! Обожди...

Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди; он хотел, чтоб я и один мог найти ту избуш-

ку, где хранится тайна вечной, несокрушимой брони; он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе.

Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы; пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленутой в одеяло. Мы остановили ее.

— Ты куда? — спросил у нее Саввин.

— Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду, — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам. На вид эта женщина была уже старухой, а может быть, она состарилась до времени.

— Кто там в этой деревне? — указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла.

Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от нежности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

— Сейчас, сейчас, — сказала она ему, — сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди,
Померли все люди.
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подошли,
И осталась глина.
А на глине корка,
А на корке травка,

В травке той росистой
Сердце наше дышит,
Сердце наше плачет
Об умерших детях.
Все прошло-пропало.
Одно сердце стало
Жить на свете вечно,
Умереть не может,
Потому что плачет,
Плачет-ожидает,
Мертвых вспоминает.
Мертвые вернуться,
Спящие проснутся,
И тогда, что было,
Сердце позабудет
И любить вас будет
В неразлучной жизни.

Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что выражала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню. Мы тронулись за ней. Она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

— Ты что? — спросил ее Саввин.

— А я хмельная, — весело сказала женщина.

— А кто же тебя водкой здесь поит? Немцы, что ль? — удивился Саввин.

— Они, а кто же! — ответила женщина. — Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили..

— Кто же их поморил? — спокойно, спросил Саввин.

— Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют; деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают.

Саввин взял женщину за руку.

— Где сейчас немцы? Только не ври! Много выпила-то?

— Чуть-чуть, — произнесла крестьянка. — Обещали еще потом угостить, и закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе, вон на том краю. Там помещение каменное, там и ясли были с детьми, а теперь детей поморили, и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится, вот я и ношу ребят на покой. Сама плачу над ними, сама отпеваю их, — кто ж будет горевать-то по ним? Одна я женщина и осталась на деревне, всем я теперь мать, да еще две старухи помирают, лежат, а четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже: вчерашний-то день наших шестеро было в живых, двоих они убили.

Крестьянка ушла от нас. Стало сумрачно и темно; пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимои деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть, и не зато ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая о погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть в полсердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке? И я подумал: как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и неподчиненного томительной привязанности к жизни! И жизнь — где она одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения?..

Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей в овраг и вот уже снова возвращалась обратно. Саввиц под-

нялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился вослед женщине.

— Обожди меня тут, — сказал он мне тихо. — Я скоро буду.

— А броня? — спросил я. — Тебя убить могут, надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь.

— Найдешь, — часто дыша, ответил Саввин. — И меня убить не могут, потому что я сам убью их!..

Я остался один. Всюду была темная ночь, в деревне была тишина. Я ожидал Саввина, радуясь, что у него оказалось то человеческое сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.

В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком, и побежал во тьму, куда ушел Саввин. Долгое время я искал школу, это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети, а теперь были немцы. Я блуждал в огородах, в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара; затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела, я остановил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей в овраг.

Она повела меня, и я пошел.

— Не бойся, их теперь нету, — сказала она.

— Чего ты плачешь? — спросил я у женщины.

— Он их всех побил... Он их клинком заколол, сперва одного на часах, потом прочих, кои уж на отдых легли в помещении, — говорила женщина. — Он их сразу, он им и вспомнить про себя ничего не дал, семь душ — все лежат.

— А чего ты плачешь?

— А он и сам тоже лежит, помирает... Один-то враг не враз помер, он в него после стрельнул и попал ему в грудь насквозь... Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.

У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы тут его

не было. Внутри помещения горел фонарь «летучая мышь», смутно освещающий покойников. Двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки. Прочие кровати были пусты, и четверо мертвецов валялись на полу — они, должно быть, пытались одолеть Саввина; один немец лежал в черной шинели, а остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему.

Саввин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку.

— Тебе плохо? — спросил я у него.

— Почему плохо? Нормально, — трудно дыша, сказал Саввин. — Я умираю полезно.

— Тебе больно?

— Нет. Больно. Больно живым, а я кончаюсь, — прошептал Саввин.

— Как же ты их всех один осилил? — спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки.

Саввину стало тяжело, но он произнес мне в ответ:

— Не в силе дело, — в решимости и в любви, твердой, как зло...

Он начал забываться; потом прошептал свое имя, может быть, вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть.

Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несокрушимой броне. Но самое прочное имущество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце человека.

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

Рассказ

Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.

Егор хотел узнать что означают эти слова ветра, о

чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:

— Ты кто? Что ты мне говоришь?

Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.

— Ты кто? — спросил еще раз Егор, не видя никого.

Никто ему не отвечал более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступаст вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.

Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора и на весь свет.

— Ты кто? — спросил Егор у жука.

Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то, — неизвестно кто.

— Ты врешь! — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.

Жук молчал; он со злою силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от челоозека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.

— Ты врешь, что ты жук, — произнес Егор шопотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. — Ты не притворяйся, я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся.

Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.

— Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. —

И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.

Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешком. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все это забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.

Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.

«Кто же это такой? — озадачился Егор перед червем. — Он без глаз и без головы, о чем он думает?» — Егор взял червя и понес его к себе домой.

Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.

Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не слышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.

— Ты кто? — спросил Егор, приблизив червя к лицу.

Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.

— Отчего ты живешь? — говорил Егор. — Хорошо тебе или нет?

Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать; он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь — только начавшаяся, долгая, всю ее не проспичь; и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное всемя, когда все спят — и люди и травы, а про-

снувший человек бывает один на свете — его никто не видит и не помнит.

Червь лежал в руке Егора.

— Давай я буду тобою, а ты будешь мною, — сказал червь Егор. — Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь, как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.

Червь не соглашался; он, наверно, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

— Мне надоело быть все Егором и Егором, — говорил мальчик один. — Я хочу быть еще чем-нибудь. Приснись, червяк. Давай с тобой разговаривать — ты думай про меня, а я буду про тебя...

Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.

— Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, — сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. — Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет тех, кто не спит, и, с собой уводит.

— Мама, а она кто? — спросил Егор.

— Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается...

— А она кто?

— А кто ж ее знает, сынок. Ты спи, — произнесла мать. — Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.

— А где она живет? — узнавал Егор.

— Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет, — она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дожидаться, когда все помрут и будет одна она ходить, железная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру...

Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.

— Мама, а кто ты? — спросил он.

Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что

Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлет.

«А кто я? — думал Егор и не знал. — Кто-нибудь я тоже есть. Так не бывает, чтобы я был никто!»

В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверно, быть деревом, оно живет на одном месте.

— Мама, — тихо позвал Егор, высунул голову из-под одеяла наружу. — Что такое клен?

Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходящее в просяное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверно, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?

Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять — ехала ли то телега вдали или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождетя, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, — решил Егор. — Что там ночью, кто старуха?»

Он надел штаны и ушел босой наружу.

Клен шведил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.

Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, — поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов.

Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие под-

солнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.

Овраг был старый, его не размывала больше вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.

Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем наверху земли, — ни травинка, ни лист не шевелились тут, — и ему стало страшно.

— Звезды, глядите на меня, — прошептал Егор, — а то я боюсь один.

Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.

Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного, — он умирался за день жить и ходить.

«А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу», — сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.

Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.

Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.

— Ты кто? — спросил Егор. — Ты старуха?

— Старуха, — сказала старуха.

— А ты железная?.. Мне нужна железная.

— Зачем я тебе? — спросила железная старуха.

— Я хочу тебя увидеть — ты кто, ты зачем? — говорил Егор.

— Помирать будешь, тогда скажу, — ответил голос старухи.

— Скажи, я помру, — согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.

— Иди ко мне, я тебе скажу на ухо, — и старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.

— А ты кто, ты скажи, — узнавал Егор. — Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.

Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиной к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:

— Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью. — Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и прикинулся к земле.

Но и обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:

— Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.

«Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся.

Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:

— Ты кто? Ты не старуха?

— А ты кто? — спросила его мать.

Егор открыл глаза и вновь зажмурил их — свет солнца освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.

— Ты зачем сбежал в овраг? — спросила мать. — Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении.

Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.

Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.

— Иди своими ногами, борец... Тебе это приснилось.

— Нет, я правда ее видел, — сказал Егор. — Железные старухи бывают.

— А может, и бывают, — произнесла мать и повела сына домой.

— Мама, а кто она?

— А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ли, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.

— Судьба, — промолвил Егор, не зная, что она означает. — Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху...

— Поймай, поймай ее, сынок, — сказала мать. — Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.

— Давай, — согласился Егор. — Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я уморился от нее.

Они вошли в сени избы. В сенях по полу полз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой, — осерчал Егор. — Ишь ты. Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь — сам стану железным стариком».

Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она окалет. А потом я железным не буду, — не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».

ДЕД-СОЛДАТ

Рассказ

Дед долго жил на свете, и так привык жить, что забыл о смерти и никогда не собирался помирать. Все его дети и родные померли, остался один последний внук, девятилетний сирота Алеша.

— Дедушка, ты живешь? — спрашивал Алеша и смотрел на деда с удивлением, точно он не был уверен, что все это и есть взаправду — и он сам и дед.

— Живу, — медленно говорил дед. — Жить, Алеша, сроду не отвыкнешь. Да мне жалиться не на что — только смерть, должно быть, просчитала меня: всех до малости сосчитала, а на меня одного ошиблась. Я мимо счета прошел, так и остался теперь жить навеки, вам малолетним на помощь...

Алеша глядел на деда, старого, согнутого, волосатого, но живого; у деда уж и волосы на голове и в бороде из белых стали бурыми, и глаза его были пустого цвета, как вода, а он все жил.

— И я живу! — задумчиво произносил Алеша. — Давай обед готовить, а то есть пора. Ты ведь жил долго, ты ел много, а я мало.

Дед со внуком жили в курене на большом колхозном огороде. Дед сторожил овощи, ухаживал за рассадой, следил за погодой, измерял и записывал, сколько было дождя и ведра, а внук был всегда при нем и учился у деда жизни и работе.

Наевшись кулешу с луком и салом, дед, как обыкновенно, положил еще к себе в карман штанов краюху хлеба в запас и пошел с Алешей на пруд, куда спускалась огородная земля.

— Пойдем, мне надобно тело плотины поглядеть, — говорил дед, и они шли к плотине.

Плотину эту из глины и земли сложила полвека назад крестьянская артель, в которой работали еще отец деда и сам дед. Плотина стояла в сохранности до сей поры; она переживала и великие ливни, и нагорные потоки вешних вод, но бури ее не развеяли и воды не размыли, потому что плотину строили умелые крестьянские руки, привыкшие к земле и любящие ее.

Дед и Алеша остановились на гребне плотины, над лоном смиренной воды, в которой отражалось сейчас летнее теплое небо вместе с плывущими по нему облаками и пролетающими птицами.

Дед медленно осмотрел всю природу по всей округе и вздохнул:

— Привык я тут.

— А зачем ты привык? — спросил его Алеша.

Дед помолчал немного.

— Жить привык. Ишь ты, как у нас тут! Сверху небо, снизу земля, а мы, стало быть, в промежутке — и там, и тут.

Алеша присел на корточки у самого уреза воды, доходящей почти до гребня плотины. Недавно прошли густые, сытые дожди, и пруд наполнился доверху. В синей глубине озера росла подводная трава, и ослабевшее в воде тихое солнце, как луна, освещало там неподвижные стебли темных и худых былинки.

«Ей там скучно живется!» — решил Алеша о подводной траве.

Он вспомнил, что все живущее под водой называется подводным царством. Об этом он слышал, как читали вслух из книги в избе-читальне. И Алеша решил стать самым главным в подводном царстве ихнего пруда и считать все это царство своим, чтобы всем былинкам в воде и каждому, кто там живет и шевелится, не было больше скучно.

— Я теперь буду главный у вас, — сказал Алеша вслух над водой. — Вы подводное царство, а я у вас председатель сельсовета. Потом я вырасту, заработаю трудовни и куплю велосипед...

Председатель сельсовета в алешиной деревне имел велосипед, он крутил его ногами в брезентовых сапогах и ездил куда надо по делам. Алеша тоже подумал, что ему нужно иметь велосипед, чтобы ездить по делам подводных рыб, былинки и пауков, а то без него им плохо будет.

Затем дед позвал Алешу к себе, и они сели вдвоем на сухом откосе плотины, откуда далеко были видны небо, земля и вся природа.

— Что там? — спросил дед, задремавший на земле после кулеша.

— Ничего нету, — сказал Алеша. — На небе белое об-

лако, на земле сидит один воробей, он, должно быть, тоже старичок.

— Пусть так будет, — произнес дед. — Я думал: там другое что... У нас в турецкую кампанию знаешь что было?..

Дед засопел и уснул, а потом вдруг сказал среди сна:

— У нас в турецкую кампанию стою я одна на посту...

Дед умолк, он теперь спал. Алеша согнал муху с его лица и спросил у деда:

— Турецкая!.. Ты всегда говоришь — турецкая. Какая теперь турецкая?

— Ог-го-го! — захохотал дед во сне. — Турецкая кампания, ты знаешь что?..

— А где турецкая? Ее нету, — произнес Алеша.

— Теперь нету, — согласился дед. — Теперь кампания воздушная, ерманская, шпионская, подводная, загробная, для человека никуда негодная. Они думают сделать нам трынчик, чтобы мы хряпнули, но мы им самим дадим поперек!

Дед сказал и уснул. Алеша тоже сморился и закрыл глаза. И в дремоте ему стало хорошо оттого, что у него теперь есть свое подводное царство, где живут сейчас травяные былинки и маленькие умные пауки и головастики, где ползают добрые черви и плавают такие рыбы карпы, — и все это теперь принадлежит Алеше, и он должен постоянно думать о своем подводном царстве и беречь его. Он ведь один теперь там главный председатель сельсовета, и если его не будет, то все там умрут.

Очнувшись, он увидел, что времени до вечера еще много, что шел еще долгий летний день и попрежнему светило над ним теплое небо, пахнущее рожью и цветами, а дед спал и дышал во сне. Он лежал на сухом откосе плотины в своей любимой траве — лебеде; далее плотина опускалась вниз, в широкую балку, и там на низкой глинистой земле росли лопухи, репейники и жесткие сухие кустарники. Там никого никогда не было, и только одни зеленые толстые мухи и осы скучно жужжали.

Алеша вынул из штанов у деда краюшку хлеба, раскрошил ее и посеял с плотины хлебные крошки в воду.

— Кормитесь! — сказал он подводному царству. — Теперь я у вас кормилец и председатель, а вы рожайтесь и живите. И я у вас буду считаться отцом, чтоб вы не были как сироты, — произнес Алеша вдобавок.

Рыбы-карпы вышли к поверхности воды и стали обжевывать более крупные комочки хлеба, а мелкие они сглатывали сразу. Алеша смотрел с утешением на это питание рыб и думал обо всем пруде, как о своем государстве.

Покормив жителей своего государства, Алеша отправился по берегу, чтобы оглядеть весь пруд и проведать лягушек и жаб на мелком месте.

А дед один остался спать на земле; но вскоре он отчего-то проснулся — не то в воздухе прошумело что-то и разбудило его, не то он выпался сам по себе. Он сел в недоумении и поцарапал большим ногтем грунт в теле плотины.

— Ишь ты, — обрадовался дед, — костяная стала, полвека стоит! И еще век простоят! Да ведь народ се строил и мы с отцом — никто другой: оттого и прочно. Народ — он всегда норовит навек все сделать и смерть обсчитать, — так у него и выходит!

Дед поглядел вниз по заросшей балке — в лопухи и кустарник. Там стояло теперь постороннее темное тело — большое и горячее, так что даже при свете солнца видно было, как из него выходил и воздух дрожащий жар.

— Уморилась, видать, машина! — сказал дед. — В турецкую кампанию у нас пот шел из-под казенной рубашки, а тут жар из железа.. Вон война какая теперь стала! Да что ж, время идет, люди умнеют, харчи дорожают.. Наши, что ль, что прибыли, аль чужие?..

Дед пошел к прибывшему железному танку, чтобы глянуть, кто там есть внутри него. Алеша был далеко на берегу; он не видел, как из сухого устья балки к плотине вышел танк.

Возле большой машины, окрашенной в земляной цвет, сидел чужой человек в не нашей одежде и ел из горсти сухарь, сберегая каждую крошку. Чужой солдат был гря-

зен и слабосилен на вид; он скучно посмотрел на деда и сказал:

— Лапша!

— Лапши хочешь? — спросил дед. — Лапша у нас есть.

Дед подумал: «Сейчас, что ль, пополам его перешибить иль подождать?» — и подошел близко к нему.

— Щи с капустой и каша с маслом! — сказал дед.

— Зуп, говядина! — сказал немец.

— И это можно! — ответил дед. — А сколько порций нужно? Там у тебя кто? — дед указал немцу на горячую машину, из которой что-то капало и шипело потихоньку.

Немец встал; на боку у него висел револьвер. «Ишь ты, — заметил дед, — считается с нами — порожняком боится ходить!» Немец постучал в железо кулаком и сказал туда свои слова. Оттуда ему ответили два голоса — невнятно, как во сне. «Два, — решил дед, — считай, что четыре, этот пятый: меньше не должно быть — машина дюже грузна, меньше пятерых с ней не управятся. У нас в турецкую кампанию как штык, так человек, а тут враз не поймешь, сколько их в этом железном корабле. Пять, да машина шестая, а я один. Ну что ж, справлюсь, помирать сейчас все равно некогда!»

Немец вынул револьвер, ткнул деда в спину дулом и опять сказал:

— Лапша, зуп, говядина!

— Ты не тычь! Я сам русский солдат! — осерчал дед. — И не поминай про лапшу по дважды — я с однова разу угощать умею!

Дед пошел вперед, за ним шагал немец с револьвером в руке.

«Дождался, — думал дед в огорчении. — По своей земле как чужой иду, родился от матери, а помру от немца!»

Он обернулся к неприятелю:

— Когда народ-то убивать начнете — сразу иль потом, поевши?

— Лапша, лапша, говядина, — говорил немец и торопил старика.

— Ага, поевши, — догадался старый дед.

Они взошли на плотину.

— Эту землю мы всем народом сложили, — указал дед немцу. — И я тут с отцом силу свою клал. А теперь видал, прелесть какая стала — природа, озеро, рыба, воздух легкий, и народ окрест кормится. Уж полвека тут так стало, а была пустошь, овраг, ничего не было.

Немец сумрачно поглядел на прохладное озеро, сиявшее на солнце; ему было все равно — хорошо тут или худо, он хотел поскорее наестся лапши.

Алеша увидел с берега пруда, что его деда чужой человек повел убивать, и побежал им вслед. Он бежал и чувствовал свое сердце, бившееся вслух от своей силы и от близости страшного врага.

— Дедушка, дедушка! — закричал Алеша. — Ты его не бойся, я тут. Это неприятель!

Дед обернулся на внука:

— Какой он неприятель? Он фашист Гитлер! Неприятели раньше были, они были в крымскую, в турецкую кампанию... А это просто так себе, одна гадюка!..

— А ты убей его! — сказал Алеша.

— Обожди, не спеши, — ответил дед, — это ум, а не уличная драка.

В курене дед достал котелок с остатком кулеша, отрезал ломоть хлеба и вытер деревянную ложку пучком травы.

Немец сел у входа в курень на овчину деда, положил револьвер возле себя и протянул руку за ложкой.

— Потерпишь, — упредил его дед. — Вы за что же на нас осерчали-то, к чему войной пошли?!

Немец сказал что-то, поднял револьвер и наставил его на деда.

— Эк ты дурной, неученый какой! — произнес дед. — Меня сама смерть не берет, а ты взять хочешь!

Своей сухой костяной крестьянской рукой дед враз ударил немца поперек его руки, в которой тот держал револьвер, и немец уронил оружие. Затем дед припал к врагу, обхватил его и прижал его навзничь к земле. Немец сначала притих под дедом, а потом жалобно забормотал.

— Сам теперь видишь, что я привычней тебя ко вся-

кой работе, — сказал дед и, оставив немца лежащим, поднял револьвер и положил его себе в штаны.

Алеша стоял возле куреня; он только что хотел тоже броситься на неприятеля, на помощь деду, но не успел — дед один управился.

— Дедушка, я тоже хочу дать ему! — сказал Алеша.

— Теперь уж нельзя, — ответил дед, — теперь он пленный человек.

Дед подал деревянную ложку пленному врагу и поднес к нему поближе котелок с кулешом.

Смирившийся пленник подвинул к себе котелок и стал есть из него полной ложкой, поглядывая в долгое русское поле задумавшимися глазами...

Дед достал из куреня железную тяпку и дал ее Алеше.

— Ступай на плотину, — приказал ему он, — и продолби в ней борозду, чтоб вода поперек пошла.

— А зачем? — спросил Алеша.

— Там увидишь — зачем.

— А плотина твердая, она закостенела вся; ты сам говорил, она полвека стоит, об нее тяпка согнется.

— Иди долби, тебе говорят! — осерчал дед. — Пускай она хоть железная будет, а ты ее все равно продолби, а вода ее сама вослед тебе порушит и пойдет потопом.

Алеша положил тяпку на плечо и пошел, решив, что он теперь на войне красноармеец, а дед — командир.

С плотины он увидел угрюмую чужую машину, стоящую в зарослях сухой балки, и догадался, зачем надо раздолбить в плотине протоку.

«Мы их смоем потопом!» — обрадовался Алеша и начал долбить тяпкой тяжкую, застарелую землю.

Он работал и думал, что скоро вся вода уйдет вон и помрут все жители его подводного милого царства. Ему было жалко рыб, лягушек и траву, но они вместе с водой бросятся на врагов всех людей — фашистов.

— Красная Армия лучше всего, — она лучше подводного царства, — сказал Алеша, разрушая тяпкой землю плотины. — Она не боится ни смерти, ни фашистов, ничего.

И вы не бойтесь, и я тоже не боюсь, — тогда мы будем жить! Мы после войны все вместе опять соберемся..

Из немецкого танка на плотину смотрела немая короткая пушка.

Время шло на вечер, но жара, скопившаяся за долгий день, устоялась на земле и жгла тело под жалящий зуд толстых травяных мух.

Алеша работал скоро. Поручив грунт тяпкой, он выгребал его наружу руками, и снова бил железом вглубь. Он измучился, но терпел свою муку, потому что на войне надо уметь терпеть все, даже смерть.

Добравшись до воды, Алеша перестал работать и подождал, что теперь будет. По узкой борозде, продолбленной им в слежавшемся грунте, из пруда пошел водяной ручей. И этот слабый ручей начал своей живой силой рушить землю дальше, — он уносил ее вон, резал плотину поперек все глубже и шире и превращался в поток, потому что ручей рождался из большого озера, и озеро все целиком стремилось войти в узкое его русло. Спокойная вода стала теперь яростной силой, и тихий пруд шумел в потоке.

Ручей все более расширялся, он обваливал землю на своих берегах и уносил ее прочь в мутной воде. Алеша пошел от страха к деду в курень. Но в курене деда не было; пленник тоже куда-то ушел или, может быть, одолел деда, а сам убежал.

Алеша видел из куреня воду в пруде, она помаленьку убывала и отходила от старого берега. Алеша томился в ожидании; затем, чтобы скорее прошло страшное время, он лег на дедовскую жаркую овчину и задремал от усталости.

Его разбудил выстрел из пушки. Алеша сразу опомнился и побежал к плотине.

Плотины уже не было; ее размыва вода, и пруд ушел. От плотины осталось лишь одно ее плечо, упиравшееся в материнскую землю. На этом возвышенном плече стоял дед с револьвером в руке и глядел вниз по балке, где раньше было сухое место. Сухую балку теперь занесло илом и сырою землей из пруда.

Из этого сырого вязкого наноса была видна одна только башня немецкого танка с пушкой, а весь танк был погребен в тяжком слипшемся иле, осевшем из усохшего потолка воды.

Алеша схватил деда за рубаху и прижался к нему. Из башни показался человек. Он собирался вылезти оттуда.

Там человека три-четыре, — сказал дед. — Уморились воевать и послули, а одного за харчами послали. Им давно пора отдохнуть!

Дед поднял револьвер, навел его как надо и выстрелил в того человека, что выбирался из танка; человек замер и молча опустился обратно вниз, убитый.

— А тот где — пленный неприятель, фашист Ай-Гитлер? — спросил Алеша.

— Нскогда на войне с одним возиться, — ответил дед. — Того я старой вожжой связал и в овраг отнес. Пускай лежит до времени, пока хоть руки-то мои освободятся... Сбегай в совет, пускай там красноармейцев кликнут, чтоб танк забрали, нам он годится. А я тут один хищника по сторожу — у них еще человека два-три в машине живыми остались...

Но Алеша загоревал:

— Дедушка, а где же рыбы-карпы и лягушки будут жить? Весь пруд на фашистов ушел.

Дед рассердился на внука.

— Ты видишь — у меня руки оружием заняты! Как управлюсь с врагами, так плотину всю сызнава слажу. Мы свое добро только на время рушим.

Дед поглядел в размытую прорву, где недавно стояла вековая плотина, сложенная крестьянскими руками, и два раза моргнул, чтобы первая слеза усохла, а вторая не пошла.

Пламя вырвалось из танковой пушки, и оттуда с железным мертвым звуком пролетел снаряд мимо деда и внука.

Снаряд сухо разорвался над пропастью умершего пруда, а дед и Алеша почувствовали удар холодного тяжкого ветра, твердого, как грунт, но невидимого. Затем танк за-

ворчал своей машиной из глубины схоронившей его илистой тучной земли, пошевелился немного всем туловищем и утих.

— Зря стараешься! — произнес дед. — Утопшие и закопанные сами не вылезают.

Алеша побежал огородами на деревню, а дед залег за плечом плотины и направил револьвер на башню танка: может быть, еще кто-нибудь оттуда появится.

Скоро, как и должно быть, оттуда медленно и осторожно начал подниматься человек. Дед нацелился и выстрелил в него из немецкого ручного оружия: лезь, дескать, назад в железный короб. Враг сразу провалился обратно.

— Эх ты, лапша, зуп, говядина! — произнес старик. — Кого обсчитать хотели! Наш народ уж в который раз смерть обсчитывает и еще раз ее обсчитает!

КРЕСТЬЯНИН ЯГАФАР

Он был самым старым человеком в районе, а может быть, и во всей Башкирии, и его звали всего чаще не по имени, Ягафар, а по старости — бабаем, что означает по-башкирски: дедушка, старик.

От старости лет с бабая сошли все волосы — и с головы и с лица, и он стал голым, мягким и нежным на вид, как младенец.

— Волосы ушли с меня, — говорил бабай. — Им надоело жить на мне: я ведь давно родился. Пусть ушли, я по ним не скучаю, пустое лицо мне легче носить.

И бабай смеялся пустым, жалким, но веселым лицом, из которого светились свежие, думающие, глаза, все еще не уставшие смотреть на свет и искать своего счастья в нем.

Он столько пережил за долгий век, и худого и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил.

Всемирной войны бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям,

по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю — все, что будет вскоре удалено от них и страдать отдельно в бедствии. Бабай чувствовал это по людям, подобно тому, как можно угадать перемену погоды по небу.

После наступления войны бабай даже обрадовался, потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, — чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца. Теперь настало это время, и бабай обрел надежду, что эта пора минует и тогда будет счастье.

Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время; дома у него была одна жена — старуха, все мысли и слова которой он знал вперед на будущее до самого конца ее жизни, и потому ему нужны были другие люди.

В гостях бабай пил кипяток с молоком десять чашек в одной избе, восемь в другой, беседовал и согревался. Ямаул — большое село, там есть где побывать на людях, посмотреть на их жизнь и на время, для отдыха, забыть о своих заботах.

Крестьяне, которые были помоложе бабая, собирались на войну и постепенно уходили из села — кто навеки, а кто на время, до возвращения после победы. Бабай провожал их, прощался с ними, горевал им вослед вместе с их родными, и совесть мучила его сердце.

— А я-то что ж! — шептал он себе. — Я, значит, бабай — в колхозе кур остался щупать. Или и вправду жизнь моя прошла?

Опечаленный, он спросил у своей жены:

— Старуха, осталась во мне сила еще или нет ничего?

Жена жила с ним вместе полвека, пятьдесят второй год, и она должна знать, что осталось в ее старике, а что унесла из него жизнь.

— Сам живешь, сам мучаешься, значит силу свою чувствуешь, — сказала бабаю жена, — без силы человек не живет. А ты еще серчаешь на зло, а кто серчает на него, у того сердце твердое, хорошее, тот, зная, не скоро помрет.

Бабай послушал жену и подумал, что она говорит ему правду. В гостях же ему говорили, что его жизнь теперь в том, чтобы собираться на тот свет, поближе к Магомету. А жена, с которой ему скучно было разговаривать, сказала ему то, чего другие люди не умели сказать, потому что они не знали и не любили его так, как знала его старая жена.

— А на войну я гожусь? — спросил у жены бабай. — Пойду убью одного врага и потом доволен буду.

Старуха поглядела на своего старика, как на мало значимого человека.

— На войну ты не годишься, — сказала жена. — У тебя кость от старости жесткая, ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься. На войну нужны люди хрящеватые, — чтоб его тронули, поувечили, а он опять сросся и опять живой. А ты теперь ломкий.

Тут бабай подумал о себе, ломкий он или нет, а жена ему сказала еще:

— Куда тебе ходить, живи со мной на деревне. Чего тебе война: на войне сила тратится, а в деревне она рождается. Тут тоже забота будет, даром не проживешь.

Старый бабай опомнился и понял, что жена ему опять правду сказала — народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем.

Чтобы послушать о войне слова дальних людей и напиться чаю в буфете, бабай отправился на железнодорожную станцию. Там ехали в вагонах войска, отправляясь против неприятеля на войну, а со стороны войны ехали разные люди, чтобы работать и жить в покойных местах, где нет стрельбы и опасности умереть.

Бабай разговорился с одним пожилым человеком, ехавшим со стороны войны. Человек этот оказался Петром Федоровичем Беспаловым. Он был слесарем-электромеха-

ником, но машины его завода увезли куда-то за Урал, а помещение завода сожгли немцы, и теперь Беспалов не знал, куда ему надо ехать и где остановиться.

— Да я не горюю, — сказал Беспалов старому башкирцу. — Работы везде много, а родина у нас везде наша.

— Правду говоришь, — сказал Беспалову бабай.

— Продай табак, — попросил Беспалов. — Есть у тебя?

— Есть немного, маленько.

— Сколько тебе платить? — спросил Беспалов.

Бабай подумал: война еще долго будет, табаку мало останется, и штаны постареют, их чинить придется.

— Давай рубль денег и ниток катушку — сказал бабай.

— Ты что нервный такой? — спросил у него Беспалов.

— Это не я, — сказал бабай. — Это в Уфе нервные: когда еще война в Абиссинии была, в Уфе лук подорожал. Вот там нервные!..

Беспалов поглядел на старика глазами, которые сразу стали у него и сердитыми и печальными.

— Хватит тебе одного рубля, — сказал он тихо и подал бабаю деньги, больше не желая говорить и торговаться и считая расчет окончательным.

Бабай увидел деньги, одну бумажку, и сначала захохотал, что этот человек не понимает, что сейчас война и что потом будет — какая цена, ничего неизвестно, а затем умолк, потому что Беспалов не улыбался и глядел на него чуждо и равнодушно, как на плохого человека. И старику понравился Беспалов, потому что старик-бабай понял, что он сейчас был плохим человеком: он давно жил и не боялся думать о себе плохо, когда был плохим.

Бабай отдал табак Беспалову вместе с кисетом.

— Бери, — сказал он. — Я люблю, что меня смешит. Ты меня рассмешил, теперь табак твой. Я старый Ягафар, и понимаю человека. Пойдем ко мне в гости в колхоз! Там у нас дело — забота есть.

Теперь Беспалов глядел на бабая простыми, счастливыми глазами. Он не взял табак у старика; он сказал, что они вместе его будут курить.

— Какая у вас там забота? — спросил Беспалов.

— Война пошла, хороший, умелый человек на войну

поехал, — ответил старик, — в деревне кто останется? Чего войско и народ кушать будут... Я живу, а сам думаю, я все думаю. Я, что ль, буду в колхозе генерал? — засмеялся бабай.

— Придется, и ты генералом будешь, — сказал Беспалов. — У вас там пища какая-нибудь зимой-то все ж таки производится? — спросил Беспалов.

Бабай замер от удивления, что такой глупый человек, как Беспалов, есть на свете и целым живет. Он же читал и верил, что рабочий класс — это умные люди. Но бабай все-таки опять позвал Беспалова к себе в гости: пусть в деревне и дурак живет, чтоб не скучно было жить другим.

Беспалов подумал немного и пошел в гости к бабаю. Он взял только из вагона свой сундучок, окованный железом, и они пошли в колхоз.

В колхозе бабай повел Беспалова на молочную ферму. Там был сарай, устроенный из плетней, обмазанных глиной, и покрытый обветшалой соломенной кровлей. В том сарае всю осень, зиму и весну жили коровы; они и теперь там находились, потому что время года шло в глубокую осень и поля более не рожали травы.

От плетневых стен фермы отвалилась глина, и ветер сквозь щели дул снаружи в худые кости коров и остужал их теплые, добрые тела. Беспалов потрогал коров своей большой рукой, погладил их и отошел. Но возле одной коровы он вновь остановился и долго глядел на животное, и корова в ответ смотрела на него грустно и осмысленно. Корова эта стояла поперек своего места, прислонившись боком к плетневой стене, загородив от стужи другую корову, послабее и помоложе на вид, которая стояла тут же, уткнувшись мордой в теплое вымя старой коровы.

— Мать с дочкой, — сказал бабай. — Дочка выросла, а дурная; от матери не отвыкла.

— Зачем ей отвыкать, — сказал Беспалов, — у нее мать хорошая, она дитя свое от ветра бережет.

— Правда твоя, — согласился бабай.

— А вы молоко свое не бережете, — сказал еще Беспалов, — его холод из коров выдувает...

— Правда твоя, — понял бабай. — У нас догадка в голове не держится: поработал мало-мало закону и в гости пора — кипяток пить.

Потом бабай показал Беспалову колхозную мельницу и электрическую станцию. Мельница нынче стояла, — с нефтяного склада не привезли топлива для двигателя, который вертел мельничный жернов.

— Война пошла, — сказал бабай, — нефти мало дают, на нефти летать нужно.

— У вас ветра много, зачем вам нефть, — указал в ответ Беспалов. — Раньше-то была у вас ветряная мельница?

— Как же, была, — охотно сообщил старик. — Она и теперь стоит на том краю деревни, пауки там в помещении живут. Чего делать на ней! Дай сюда нефти, тут работают хорошо, скоро, и свет в колхозе горит. А там и жернова давно нету...

— Ты старый человек, а глупарь! — сердито и неохотно сказал Беспалов.

— Глупарь! — воскликнул бабай и засмеялся: он еще не слышал такого слова, а он любил слышать неслышанное и видеть невиданное.

Мимо колхозного птичника старик прошел молча: Беспалов увидел только, как стояли на птичьем дворе нахохлившиеся, озябшие куры и спал, зажмурив глаз, молчаливый петух.

— Несутся куры у вас? — спросил Беспалов.

— На дворе прохладно стало, куриная пора прошла, — ответил бабай. — Нет, теперь мало будет яиц.

— Ишь ты! — удивился Беспалов. — Все у вас на-нет идет.

— На-нет идет! — согласился бабай.

Они вышли снова за околицу, потому что так ближе было идти в избу к бабаю, и увидели небольшое поле с несжатым хлебом. Ветелки ранее густого проса теперь опустели, отощали, иные легко и бесшумно шевелились на ветру, а зерно их обратно пало в землю, и там оно бесплодно созреет или остынет насмерть, напрасно родившись на свет. Беспалов остановился у этого умершего хлеба, осторожно потрогал один пустой стебель, склонился к нему и прошеп-

тал ему что-то, словно тот был маленький человек или товарищ.

— Люди-то у вас где же были? — спросил Беспалов у бабая, не обернувшись к нему.

— Люди тут были, товарищ, — ответил старик, оробев вдруг и застыдившись.

— Это ты виноват, произнес Беспалов. — Ты — старик, ты знаешь порядок, — чего глядел?

— Правда твоя, — сказал бабай, — я старик, я виноват, чего глядел. Людей люблю, в гости ходил, — я виноват.

И бабай зажмурился от крестьянского стыда, чтобы не видеть перед собою мертвый хлеб, павший в холодную землю.

В избе своей бабай накормил гостя мясными щами и кашей и напоил его чаем с молоком; но гость ел мало, точно он жалел тратить на себя сытное добро, а себя не жалел. Старая жена бабая с уважением смотрела на гостя как на желанного человека. Ей по душе была его бережливость в еде, потому что этим гость жалел их крестьянский труд, но в то же время ей не нравилось, что гость мало ест, и она упрашивала его есть больше и обижалась, что он не хочет.

Беспалов переночевал у бабая, а наутро чисто прибрал за собой постель, вытер сырость на полу от башмаков и ушел неслышно, ничего не оставив после себя — ни следа, ни соринки, будто его никогда не было в этой избе.

Бабай, как проснулся, так сразу же заскучал по своему ушедшему гостю. Он вышел на крыльцо, чтобы поглядеть, не тут ли Беспалов где-либо во дворе; потом обошел деревню и вышел за околицу на дорогу к станции, но нигде не видно было Беспалова. И старик почувствовал грусть об ушедшем госте, словно его веселое сердце стало вдруг пустым.

«Ничего, он в другом месте сейчас живет; он цел все-таки, пусть живым будет», — подумал бабай и опять повеселел.

Старик отправился на молочную ферму, там был он вчера с Беспаловым. Знакомые добрые коровы попрежнему

находились там и зябли от осеннего ветра, дувшего с обмерших от холода полей.

— Правду сказал Беспалов, — понял бабай, — скотину теперь холодный ветер доит, а доярки остатки берут. Хорошему человеку от ветра тоже обедать два раза нужно: он остужается...

В память друга и для пользы хозяйству бабай пошел в овраг, нарыл там глины в пещере, а потом размешал ее в кадке и подбавил туда немного навоза, чтоб получилось вязущее тесто. Затем старый Ягафар до самого вечера замазывал наглухо щели и прорехи в плетневой огороже коровника, а после работы он постоял еще среди коров; теперь в помещении стало тихо, ветер не входил туда и не выдувал из коров тепло их жизни. Коровы молча смотрели на бабая. Старый человек погладил ближнюю матку, ту самую, которую гладил и Беспалов.

— Мою работу молоком отдашь, — сказал ей бабай, — пускай его красноармейцы с кашей едят.

На второй день Ягафар наточил косу и скосил вручную несжатую полосу погибшего проса. Он решил, что раз хлеб умер, надо хоть половину от него взять: сейчас идет война, зима долгая будет, годится и полова, хоть на крышу для тепла годится.

Старая жена Ягафара радовалась на своего старика.

— Ты добрый стал, — говорила она, — у тебя к нужде и народу сердце теперь прилегло. Ты опомнился теперь. А то мы все на солнце, на дождь да на бабу надеялись. Солнце погрееет, дождь помочит, земля родит, а баба хлеб испечет, а вам останется в гости ходить да разговор балакать.

— Баба немного правду говорит, — рассудил бабай. — Лучше надо было жить, да я не успел жить хорошо — стариком стал. Айда, успею еще, пока не псмер!

Он вышел поутру на улицу и увидел председателя колхоза, который шел куда-то, похудевший от заботы.

— Чего скучаешь? — спросил его бабай. — Жизнь плохая стала?

— Жизнь ничего, — сказал председатель. — Хлеб остался у молотилки, а домолотить его нечем. Машиной пельзя—

нефти нет, лошадьми трудно — лошади лес возят на постройку завода, там для войны скоро нужно.

Председатель стоял и думал, и бабай тоже думал, давая волю своей мысли — пусть она сама вспомнит и скажет ему, как тут нужно быть.

Старая ветряная мельница скрипела от ветра. Бабай поглядел туда; крылья ветряка покачивались, в них была сила, но вертеться они не могли, потому что одно крыло было привязано цепью за кол, вбитый в землю. Та мельница уже давно стояла холостая, она только ветшала от времени и погоды, была приютом для птиц.

— Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал бабай председателю. — Ты собери народ, мы молотилку туда своей силой перевезем. Я тебе с плотником привод налажу от мельничного вала на молотильную машину, а снопы со старого тока пускай хоть вол да две коровы подвезут, там их не большая гора, маленькая.

Председатель записал себе в книжку это мероприятие и согласился. Но пока бабай с плотником ладил привод, пока возили хлеб к машине, ветер обратился в тишину. Однако на другой день ветер поднялся на Уральских горах и подул в Ямауле, и за четыре дня без малого весь хлеб был обмолочен. Хоть старый ветряк молотил много тише, чем нефтяной двигатель или трактор, все же вышло скоро, и ветер ничего не потребовал за работу, — только Ягафар смазал дегтем цевки в деревянных мельничных шестернях.

После работы народ ушел по избам, а бабай остался. На порушенные колосья пшеницы исподволь. — по одному, по два, по четыре, — без суеты, но с разумной скоростью налетали воробьи и большим народом насели на уже опустошенный хлеб, чтобы найти в нем свое пропитание. Тут были и свои, постоянные воробьи, внутриколхозного жительствова, которых бабай уже признал, и посторонние, из дальних мест, а затем прибыли певчие птицы — щеглы и синицы.

«Разве они все глупые?» — подумал Ягафар. — Если бы они были глупые, они бы не пропитались».

Он пошел по колосьям среди хлопочущих, клюющих

птиц, причем один воробей, как послышалось бабаю, злобно пробормотал что-то на человека за помеху, но бабай отогнал прочь сердитого воробья и поднял колос. В этом колосе Ягафар сосчитал два остаточных зерна. Тогда он взял еще колосьев и в каждом нашел немного хлеба — в ином одно зерно, в ином четыре, и только изредка ничего не было.

Бабай поглядел на небо; были поздние сумерки, но небо очищалось ветром от дневных облаков, а ночью землю должен осветить месяц. Птицы, однако, не боялись близкой ночи и яростно кормились.

— У коров учился, теперь у воробьев буду учиться, — сообразил старый Ягафар. — У всех надо!.. У себя только забыл учиться — у своего сердца забыл, но я помню — оно у меня помаленьку болит: это, чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо. Он надел приводной ремень на шкив молотилки, и машина пошла в ход от ветра. Бабай взял грабли и подгрел хлеб к подаче на барабан. Хоть одному было трудиться несподручно и неспоро, но Ягафар решил все равно работать, потому что так легче было для его сердца чувствовать себя. По старости лет он не мог вручную и единолично вонзить штык в живое туловище врага, но он желал, чтобы тот красноармеец, которому поручен этот штык, постоянно имел полный живот хлеба и каши и чтобы этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу и в смерть мучителя — врага.

Бабай молотил пшеницу в сумерках, а потом и при луне, до самой полуночи, пока не утих ветер и не ослабел ход машины; тогда Ягафар сосчитал намолоченное зерно на-глаз и увидел, что он наработал второй молотью уже однажды смолотого хлеба пудов десять. Это было немного, все же достаточно и полезно. Упрятав хлеб в мешки от хищных воробьев, старик пошел на ночлег.

В избе своей бабай застал председателя колхоза. Жена Ягафара угощала его чаем с блинами и загодя уже то-сковала по нем, как по сыну: председатель уходил на войну. Он был еще молодой человек, и ему настала пора итти воевать.

— Я без него справлюсь, — сказал Ягафар. — Война

сейчас тоже нужна, пусть он туда идет... Мы тут и без печей не окоченеем, а от врагов к нам смерть идет...

— Ишь ты, умный, — ответила жена, — а я глупая! Не мне с тобой печь нужна, а в курятник, на птицеферму эту. Стало б там тепло, так куры и в зиму бы неслись, и не я бы с тобой яички кушала, а ему же на войну их послали бы!

Тут Ягафар осерчал и крикнул на жену. Он и сам знал, что в колхозном курятнике нужна печь сложить, у него у самого уже была про то догадка, только он не успел сказать свою мысль.

— Ишь ты, наука какая: печки, — рассердился бабай. — Я готовую погляжу, да по готовой и новую сделаю.

Но председатель остерег Ягафара.

— Печки, Ягафар, дело великое! — сказал он. — У нас зима долгая: как без печки жить! Ты сделаешь печку такую; что воз соломы сожжешь — и прохладно будет, а умелый человек сложит тебе свою — и от снопа жарко!..

Ягафар одумался: может, это и правда.

— Давай завтра в курятнике печи класть, — порешил он. — Пускай куры и зимой в тепле несутся: теперь харчей на войну много надо. Видать, нам лета одного мало, зимой тоже нужно пищу делать.

И бабай вспомнил здесь Беспалова. Тот тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу, а бабай посчитал его тогда глупым дураком.

Утром Ягафар и председатель начали класть печь в колхозном курятнике, а к ночи сложили ее и оставили на сушку.

Председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне — все ушли на войну, и бабай стал в колхозе председателем. Бабай хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако любил почетные, высшие звания и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожаящей силой земли, кормящей армию и согревающей ее.

По зимнему времени бабай решил сажать и растить овощи в теплице. Теплица в колхозе была большая, све-

товые рамы были исправные, только тепла там нехватало. Ягафар рассудил, что жечь солому в теплице — это убыточно, а дров заготовить — лошадей и людей много надо.

«А чем-нибудь можно топить! — задумался старик. — Что-нибудь есть на свете, из чего тепло можно занять, только один я не знаю: голова моя бедна!»

Он оглядел небо и землю, но там теперь повсюду дул холодный, нелюдимый ветер ранней зимы. Если б откуда-нибудь тепло можно было даром добыть, а куры клали яйца и тучный овощ произрастал в обогретой почве. Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить — не от земли, так от скупости: пусть ни одно зерно не склюет птица, не поест мышь, не тронет порча и не растопит, не просыплет мимо рта труженик-едок, а лодырь совсем не будет жевать. И тогда старый хлеб даст новый урожай.

Воротившись в избу ночевать, бабай спросил у жены:

— Как быть, старуха?.. Мы б и зимой дали с нашего колхоза хлебную поставку, — не хлебом, так молоком, яйцом и овощем, да боюсь, тепла неостанет..

— А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись, — сказала жена, — может, и узнаешь, как тебе быть.

— Сам от себя я ничего не узнаю, у меня голова мала, — загоревал Ягафар. — А в деревне спросить не у кого: я тут самый ученый остался!.. Хоть бы человек явился к нам: пусть гость, пусть разбойник, я бы спросил у него.

Сказав это, бабай вздохнул и лег спать. Но среди ночи он проснулся, потому что жена отворила дверь неизвестному гостю. Засветив свет, Ягафар увидел, что это пришел Беспалов.

— Здравствуй, генерал Бабай! — произнес гость.

Ягафар поднялся навстречу хорошему человеку.

— Здравствуй, товарищ Беспалов... Иди к нам в деревню скорей, пожалуйста! Садись сюда, нам думать с тобой надо... Как там война идет — долго еще будет иль мало-мало и — конец?

— Война до последнего хлеба будет, бабай, — ответил Беспалов. Он поставил свой сундук возле двери и сел на пол, чтобы переобуть ноги.

— До последнего хлеба! — в размышлении сказал Ягафар. — А у нас не будет последнего хлеба, у нас всегда запас в остатке будет...

— Тогда мы победим, — сказал Беспалов. — Надо, чтобы пока старый хлеб в запасе еще лежит, а уж новый ему на подмогу рос...

— Надо, надо, — согласился Ягафар. — Нам все надо, и нам все мало будет, это правда твоя. Нам теперь тепло надо, тогда мы и зимой в колхозе будем овощ растить, курица яйцо будет нести, корова молока много даст...

— Это все тоже хлеб, — сказал Беспалов.

— Тоже хлеб, — рассудил бабай. — Лодырю и жулику хлеба не давать — нам тоже будет урожай...

Старуха бабая развела огонь на печной загнетке и поставила воду в горшке.

Ягафар оделся, чтобы приветливо встретить гостя, накормить его и напоить кипятком.

Но Беспалов отказался от угощения.

— Некогда, — сказал он, — день и ночь идет война, день и ночь надо работать. Пойдем со мной, бабай!

Беспалов взял свой сундучок и пошел наружу, и Ягафар отправился вслед за ним.

Они прибыли на колхозную электрическую станцию. Там Ягафар зажег фонарь «летучая мышь», а Беспалов достал инструмент из своего сундучка и начал раскреплять динамомашину от фундамента.

На рассвете Беспалов и Ягафар погрузили машину в сани и своей силой отвезли груз на старую ветряную мельницу.

На ветряной мельнице Беспалов остался работать один, а Ягафару он велел заботиться по колхозному хозяйству.

Сначала Беспалов установил на старых брусках динамомашину и наладил привод на нее от вала ветряка. Потом он пошел на бывшую электрическую станцию, чтобы

снять оттуда провода и устроить передачу тока от ветряной мельницы в общую сельскую сеть. До вечера трудился Беспалов, а на другой день с утра он собрал по колхозу триста двадцать электрических ламп и пригнорвил их, чтобы они работали теперь для обогрева. Для этого Беспалов установил их рядами в деревянных ящиках, а в каждом ящике он устроил отверстия для входа холодного и выхода теплого воздуха. Два ящика, по шестьдесят ламп в одном ящике, Беспалов поместил в коровнике, а еще сто ламп он заключил в два других ящика и поместил их в курятнике; последние же сто ламп он установил на одной доске в теплице, не покрыв их ящиком, потому что свет наравне с теплом не вреден для овощей.

Ягафар был доволен, но сам Беспалов чувствовал сомнение—хватит ли ветра, ветер хотя и часто дует в Ямауле, однако не вечно. Беспалов боялся, что будет много тихих морозных дней.

Тогда Ягафар вспомнил свою жизнь и погоду за полвека и сказал Беспалову:

— Тихого мороза не будет. Его мало будет. У нас ветры и бураны всю жизнь дуют, мы тут посреди земли живем: ветру кругом просторно. А тихо будет — мы печи затопим.

Беспалов ушел пускать в ход ветряк и электрическую машину, а Ягафар сел в коровнике возле ящика, в котором были лампы, положил руки на отверстия ящика и стал ожидать — пойдет оттуда тепло или его не будет.

Он сидел долго в ожидании, ветер на дворе дул со слабой силой, и Ягафару казалось, что никогда не может из холодного ветра родиться тепло.

Бабай вздохнул с огорчения, что редко сбываются надежды человека, а затем улыбнулся, потому что ладони его рук почувствовали жаркое тепло, начавшее палить из ящика.

Бабай заглянул в отверстие ящика, увидел в нем сияющий дрожащий свет и захохотал от радости.

— Ты дурак, бабай, — сказал он в поучение самому себе. — Солнце гоняет ветер по земле, — значит, в нем

сила солнца есть. Из ветра обратно можно тепло брать— значит, можно зимой овощ рожать, яйцо, молоко и масло много давать... Я тут буду глядеть, чтоб у нас не дошло до последнего хлеба, я тоже буду мало-мало красноармеец по хлебному делу!

К о н е ц

2 руб.

53 р.

56

17